

Николай Панченко: портрет с автографом

“Поэты и стихи почти всегда некстати”

“МНЕ четырнадцать лет...” — пас-тернаковское. А мне было лет тринадцать, когда вышли в Калуге и потрясли страну “Тарусские стра-ницы”, чтение которых (а не Лужники) сделало в начале 60-х мое поколение некоей до поры до времени общностью, понимающей жизнь через поэзию.

Многие из нас именно з д е с ь от-крыли для себя впервые Цветаеву и За-болоцкого и уж точно впервые — Слуцко-го и Коржавина, Самойлова и В.Корни-лова... В этом же творчески правдивом, законопослушном, светящемся кругу вошел в наше духовное пространство Николай Панченко. Перечитывая ныне ту его тарусскую подборку, состоявшую из двух циклов “Обелиски. Стихи солда-та” и “Наталя. Стихи о любви”, я обна-ружила, сколь многие строки, вреза-вшись в отроческое сознание сразу, от-нюдь не померкли в нем за последую-щее тридцатилетие.

Тут уже были в с е важнейшие сваи панченковского кодекса чести.

*Поэт не царь,
но только больше!*

(Заметим: полемическая, дерзкая пере-кличка с пушкинским “Ты царь: живи один...”.) И еще:

*Не заслуга быть белым.
Не достоинство — русым.
Очень трудно быть смелым.
Очень просто быть трусом.*

(Заметим: графически выраженная тяга к полярности и окончательности нрав-ственных вердиктов — с годами Панчен-ко от нее уйдет.) И еще:

*Ты молчишь, любовь моя и вера:
думаешь, я так — из озорства?
Нет, и днес
решают у барьера
вечный спор любви и воровства!*

(Заметим: рационально назидательный жест, заслоняющий собою беззащитность ревнивой страсти, когда якобы решитель-ная рука лирика все равно дрожит.)

Николай Панченко — рыцарь-макси-малист; он, пожалуй, как никто другой из его фронтовой плеяды, интенсивно про-должил линию цветаевской кровоточа-щей риторики, где внешняя исчерпан-ность поэтических формул — изнутри, в неисчерпанном сомнении, расширяется самим задыхающимся ритмом. То есть: м у з ы к а панченковских стихов зачас-тую опровергает рассудочную четкость его прописных истин.

“...Мой мир — не растворов, / Мой — крепких эссенций”, — сказал однажды по-эт, поначалу склонный к ожатым, как в военном рапорте, самоаттестациям. Но все граздо сложнее. На самом деле на-

тура его, смею догадываться, как раз расплывчатая, неокончательная, дымчатая, н е ж н а, и видимость “эссенции” — лишь творчески гордая и целомудренная са-мозащита, призванная скрывать (а мо-жет быть, и обуздать) глубинный хаос и трепет. Последнее, в обход жестких формулировок, сказывается в не прямой речи и в звукописи. Панченко привер-жен оксюморонам (“горящие стылым ог-нем города” или “моя раба, всяя любви государыня”) и — особенно в ранних сти-хах — к глубоким, фольклорной закваски, корневым рифмам: хатами — расхвата-вали... нары — наглый... помню — помер... У него созвучие больше, чем звук; это модель мира, где отдаленности неиз-бежно родственны, но и — почти сопри-касаются — трагически разведены в обре-ченном несовпадении.

Вообще подлинного поэта мы вернее обнаруживаем не в хрестоматийных афоризмах, а в оговорках, обмолвках, описках, м е ж д у слов...

Юношей уйдя на войну, Панченко был навсегда потрясен ее противобожь-ей жестокостью, непоправимо поражаю-щей человеческое в человеке, и там, на фронте, сложил удивительные строки, антивоенный пафос (как сказал бы кри-тик во время оно) которых тем сильнее, что пацифист — это в данном случае лич-ность, с оружием в руках, рискуя жиз-нью, разделившая общую долю.

*Мы ползем землей паленой —
не поднимешь головы.
Вот убит —
травой зеленой
прорасту,
лучки травы
из глазниц моих пробьются.
Ты сорви мои глаза,
не росой, слезой прольются —
по горошине слез!
Скажешь: “Слезы как горох!
Знать, при жизни не берег...”*

— стихи 1942 года.

Лубковый сюрреализм этой страш-ной сказки напрочь опрокидывает лозун-говые призывы и инвективы, исхोдив-шие из-под пера панченковских офици-озно знаменитых современников. Один уверенно заклинал: “Убей его!” — другой, Панченко, и много лет спустя после вой-ны ощущает себя не столько победите-лем, сколько соучастником великого ужаса, “где спит солдат тяжелым сном убийцы”.

С годами напряженная натуралис-тичность (рота, изнасиловавшая девочку... сосульки, как литые бороды мочи...), причудливо произрастающая из той же “окопной правды”, что и щедевыры поэ-зии, сглаживается и растворяется у Панченко в интонациях сокровенной мо-литвы. Говоря его же строчками конца 60-х, теперь “он стоит и что-то шепчет:

не молитву ли творит?” Интересно, что с этого примерно момента в лирике Пан-ченко с почти маниакальной бессозна-тельностью начинают варьироваться об-разы стихийного, иррационального вы-сказывания: “не строй стихов, а нечто — между строчек”, “лепет и трепет!”, “су-дить не смею, только плакать”, “мысль... зашевелилась между строчек”, “юрди-вые речи”, “брожение света”, “детский крик”, “черный берег”... Туман и озноб духа были вдруг отпущены поэтом на свободу и благодарно раскрепостили его язык. Последние лет пятнадцать Пан-ченко, отказавшись от форсированной четкости, отражает в своей лирике тай-ные глубины недужного, доброго, изум-ленного духа. Символом поэтовой веры стала текучая и неуловимая стихия, бе-рущая уроки уже не у благородной рито-рики, а у пред-молчания (цену этой шко-ле знали лучшие российские лирики — от Фета до Ин. Анненского). Если вспо-мнить и чуть наклонить одну панченков-скую метафору начала 80-х — поэзия его, растаяв, как слежалый снег, зажу-рчала полной водой и потекла, извиваясь, ручьем “поперек линейных истин, с их квадратным языком”.

Итак, Панченко — поэт очень живой, п р и р о д н ы й, коль скоро он способен так естественно и непредсказуемо раз-виваться. Нынче уже не цветаевская “окончательная” поэтика, а, скорее, ман-дельштамовский черновой шепот ближе ему.

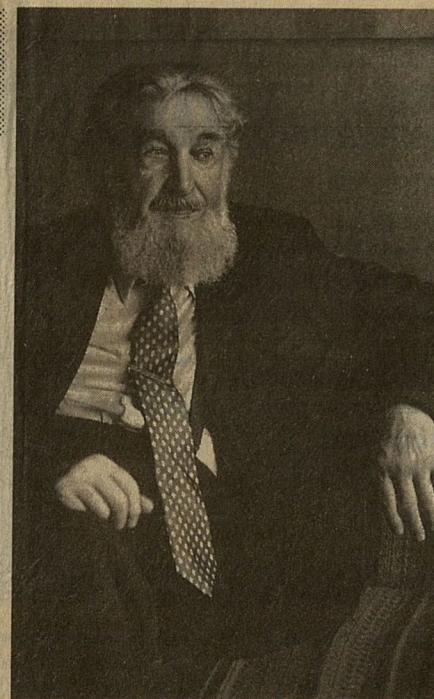
*Только эта живая —
в руке! —
Шелестящая кровью страница:
Протопопича, спутница, птица.
И прозрень —
В последней строке.*

Мерцающая импровизация на ощупь ста-новится двигателем панченковской во-ли: и как свободы, и как усилия.

“Поэты и стихи почти всегда некста-ти”, — напишет Николай Панченко уже в 80-е. (На этот раз солидарная, смирен-ная переключка с Ахматовой: “по мне, в стихах все быть должно некстати, не так, как у людей”.) Такова оборотная сторона его ранней гордыни; помните: поэт — больше, чем царь? Нынче о б е стороны медали актуализировались до-нельзя. Поэзия больше царя и любого государственного временщика, ибо оди-нока, бескорытна и, трагически свобод-ная, невестобованна. А некстати она — ибо выше амбициозной сиюминутности, прожорливо поглотившей в сегодняшней бескультурной культуре остроту вечных вопросов.

Да сопровождает и впредь эта более чем царственная неуместность — музу прекрасного поэта.

Татьяна БЕК



Николай ПАНЧЕНКО

*И какой же русский
не любит быстрой езды...
Н.В.ГОГОЛЬ*

■ *Что, собственно, локоть?
Кусай не кусай —
Одно безобразье в итоге.
А ну-ка унылые вожжи бросай —
Не видишь, что сбился с дороги?!
Не видишь: по брюхо увяз коренной,
Не сдвинется — тычется тяжко.
Кусай не кусай —*

*перед белой стеной
Встает вертикально упряжка.
Как в извести липкой, застрял бубенец —
Дорожная зимняя птица.
Но полно, возница,
еще не конец —
Лишь руки слиняли да лица.
Лишь тройка застряла.*

*Но свищет пурга.
Но крутится бойко планета.
И, верно, как радуга, встанет дуга
Над первой прогалиной света.*

■ *Ни кола, ни двора,
Ни квартирного дошлого блага —
То мороз, то жара,
Карандаш
И в кармане бумага.*

*А бумаги не дашь —
Эка блажь! —
Чтобы жизни продлиться:
Человека искать
И предвечному Слову молиться.*

*И тогда воздаешь —
Как Адаму! —
Как стало от века:
Человеку на грош,
На полгрошика вдруг человека.*

*Все во Имя Твое:
И на грош — да какими рублями!*

*Все во имя свое —
В долговой просыпаешься яме.*

■ *Не открыто для науки
И для практики закрыто —
И глядят, старая, внуки
На разбитое корыто.*

*Для чего его разбили?
И, разбив, убрать забыли,
Ну, хотя бы на задворки,
Чтоб зимой кататься с горки.*

*Помешала, знать, разруха.
И сидит над ним старуха.
И старик, прогнав рыбку,
Прячет детскую улыбку.*

■ *Был так прекрасен идеал —
Далекий и желанный,
Но несравним материал,
Мне в ощущениях данный.*

*Щека осинового щепы,
Как девичья, ворсиста,
Когда шиповника шипы
Схватили блеск батиста.*

*И замер мир, пока она
Освобождала платье...
Так — если суть обнажена —
Случается зачатье.*

*Косы, шуршанья, цифры семь,
Вина, луны в стакане —
Всего и, видимо, со всем,
Что дышит под руками.*

■ *Нет гипса, глины нет,
а надобно ваять.
Без буквы “ять” вполне
Обходятся в России.
А в Англии спроси:
— Вы как без буквы “ять”? —
Так просто не поймут...*

*А надобно ваять —
Тем более, что вас об этом
не просили.*

*Вот так — ни почему! —
Ни почему — вот так! —
Когда бы вдруг никто —
Весь мир без изваяний —
Тоска однообразных расстояний,
Когда бы вдруг никто,
Ну, словом, ничего...*

*Случилось это так — ни для чего! —
Но просто оттого,
Что был души избыток,
И глина под рукой,
и легкий трепет рук.*

*А вот гончарный круг,
Из кож хрустящих свиток —
Их не было тогда, как нашей*

буквы “ять”.
*Но был... И для того,
Чтоб был — души избыток! —
Есть глина или нет,
А надобно ваять...*